

Иероним Ясинский

Терентий Иванович



Иероним Иеронимович Ясинский

Терентий Иванович

«В один жаркий-жаркий день пришлось мне ехать из Киева в деревню, где я жил на даче. Ехал я на извозчи-чьих дрожках, и колёса, то и дело, прикасались к кузову, со скрипучим шорохом.

– Подвиньтесь, барин, направо...

Я подвигался направо.

– Теперь немножко на эту сторону, барин...»

**Иероним Ясинский
Терентий Иванович**

Д. А. Коропчевскому

В один жаркий-жаркий день пришлось мне ехать из Киева в деревню, где я жил на даче. Ехал я на извозчичьих дрожках, и колёса, то и дело, прикасались к кузову, со скрипучим шорохом.

– Подвиньтесь, барин, направо...

Я подвигался направо.

– Теперь немножко на эту сторону, барин...

Я подвигался налево – всё равно, шорох не унимался.

– Ишь черкает, чтоб его!.. – произносил извозчик и, сделав «цигарку» из газетной бумаги, курил, поглядывал на колёса и укоризненно качал головой.

Дорога то поднималась, то шла вниз, и везде был песок. Иногда лошадь, замученная, хоть на вид и сильная, останавливалась, трясла головой, и нам надо было слезать и идти некоторое время пешком, под палящим зноем, жмурясь от солнечного блеска, отражаемого ослепительным, мягко волнующимся ковром пожелтевшей ржи. Горячий ветер обдавал пылью, и приходила в голову досадная

мысль, зачем я выбрал именно этого извозчика, потому что другой, конечно, повёз бы и скорее, и удобнее.

– Что ваша лошадь всегда была такая? – спросил я почти сердито.

– Как можно всегда! Кобыла была первая в городе. Вы не знали Трофима Трофимовича Калача? В палате служил... В тысяча восемьсот семьдесят третьем годе умер. Так это его была кобыла.

– С тех пор прошло много лет. Больше десяти!

– Верно. Да у Трофима Трофимовича покойника она годов пятнадцать прослужила. Добрая кобыла! Бывало...

И радуясь, что недостатки настоящего времени можно заслонить воспоминаниями о славном былом, извозчик пустился в описание замечательных качеств, которыми обладала при жизни Трофима Трофимовича его тридцатилетняя лошадь.

– Будь такой добрый, – обратился он вдруг к человеку, который ехал позади нас с возом, нагруженным стульями, ванной и шкафом, – поезжай ты вперёд, то моя лошадка охотнее

пойдёт за твоей. Видишь сам, какой песок...

После того, как мы потянулись за возом с кладью, замечательная лошадь моего извозчика пошла, действительно, ровнее, но зато мы туго подвигались вперёд, солнце жгло немилосердно, пыль клубилась удушливая. Извозчик, должно быть, почувствовал угрызение совести и решил меня занимать. Сначала он стал говорить о хозяйстве. Он давно уже собирается завести дрожки «как следовало быть», чтоб рессоры были потвёрже, а также намерен продать на Конной свою лошадь и купить другую.

– Боже мой! Бывало, мне такой конец ни-почём сделать. Молоньей проскачешь вот на ней самой, ей-Богу! Тут хутор Сокирки есть. Он, значит, монастырский, но только Трофим Трофимович в аренде его держали, и кажинную неделю туда, бывало, ездили. Ну, и я всегда с ними, оттого, что я у них кучером восемнадцать лет служил. У них на хуторе в доме штука была, – пояснил он.

– Трофим Трофимович молод был?

– Какой бес! За шестьдесят перевалило. Со-всем белый как лунь, и коленки дрожат. А

только были охотник до женщин, и даже не одна была у них штучка, а несколько. Одна, значит, постарела, а уж две новые подросли. Трофим Трофимович сироток брали, воспитывали как барышень, грамоте и вышиванию, на фортопьянах и танцам... Хороший были человек, а померли как собака.

– Как так?

– Со службы прогнали. Бывало, не только сами ездят, а с компанией. Чиновников наберут – как наедут, то три дня пируют. Без просыпу все пьяны! Дом в лесу. Одно слово, как разбойники. Любили и на охоту. Ничего не убьют, своим порядком перепьются, а ты цельный день мёрзнешь. Через то я сколько раз хотел отходить от них.

– Отчего же не отошли?

– Зацепка была. Ну, и жизнь была. Всего съешь и выпьешь, и работа не очень чтобы тяжёлая, особенно летом, и лишний гривенник от гостя перепадёт...

– А какая зацепка?

– Да что, барин, дело это прошлое. Любовь завелась, вот что! Был я с лица красавец...

Он повернул ко мне лицо. Хотя рыжая с

сильной проседью борода его была страшно
всклочена и походила скорее на кустарник,
откуда, по выражению Гончарова, того гля-
ди – птица вылетит, однако чёрные глаза его
не совсем потухли и, окружённые лучистыми
морщинами, сохраняли ещё по искре бывшего
огня и былой красоты.

– Влюбился я, барин, право слово моё.

– В штучку?

– В неё самую.

Он помолчал.

– Что ж, она была красива?

– Нельзя сказать. Бледная очень из себя,
волосы до пят, сидит у окошечка и всё думает.
За это я её и полюбил.

– А она?

– И она тоже. Сама ко мне светом на ко-
нюшню пришла. «Что это, – думаю, – воро-
шится белое? Уж не ведьма ли?» Цап, а оказы-
вается барышня, Надежда Михайловна.

– «Мне, – говорит, – страшно с ними стало,
так я к тебе пришла... Полюби, – говорит, – ме-
ня, позволь душу с тобою отвести»... – Ну, я ду-
раком не был, – пояснил он победоносно.

– Были счастливы?

– Не скажу. С тех пор я как сумасшедший стал. Трофим Трофимович на хутор едут, так я весь дрожу как Каин. Вот приезжаем этак в пятницу над вечер, Надежда Михайловна на крылечке встречает. Он её за подбородок возьмёт, другие барышни выбегут. Я – как земля, смотрю, ревную. Поужинают, поиграют на фортопьянах, лягут спать. А я ночь не сплю, дожидаясь. Ну, как придёт, то я не утерплю, а раза два таки вожкой огрею...

– За что же?

– За то, что любил, – через свою сердечную досаду, барин. Сказано – сумасшедший! Сам потом плачу, она мне ноги обнимает, просит: «Ударь ещё!» – а я всё плачу.

Он скрутил новую сигарку и продолжал:

– Что подарков мне было от её! Пояс вышила, платочек, золотой крестик подарила, кумачовых рубашек шесть, кисет, книжку со стихами Пушкина.

– Вы грамотны?

– Грамотен, но только книжечки той я не прочитал... Так, знал, что Пушкина. Потом деньгами двадцать рублей отдала...

– Долго у вас любовь продолжалась?

– И лето, и зиму, барин. А как весна наступила – шабаш.

– Как это случилось?

– Да так, очень даже просто. Приехали на Светлую неделю с Трофимом Трофимовичем гости. В страстную пятницу уже разговелись и песни пели. Однако же, ко всенощной повёз я их в монастырь. Вернулись оттуда, гляжу – Надежда Михайловна в белом кисейном платье, на голове шёлковая лента. Подходит. Строгая, ласковая она такая и благородная, что своим глазам не поверил: неужли ж это та самая, что я вожжой стегаю? Похристосовалась она со мной, и жаль мне её стало и стыдно, что я её бил, да так стыдно, что сказать вам не могу...

«– Надежда Михайловна! – говорю, а у самого голос дрожит.

– Что вам, Терентий Иванович? – отвечает.

– Позвольте мне вашу правую ручку, и скажите, что не гневаетесь на меня ни за что.

– Не сумлевайтесь, Терентий Иванович, – отвечает, – я вас довольно знаю и крепко в вас влюблена. За всё вас прощаю, оттого что сама во всём виновата, и ежели вы со мной

жестокко обращаетесь, то мне же лучше, мне зато грех мой отпускается.

В горнице никого не было, – обняла она меня ручками своими белыми, полюбовалась на меня, а в глазах слёзы стоят.

– Что, – говорю, – Надежда Михайловна, несладко вам со стариком вашим?

– Молчите, Терентий Иванович! Окажите пощаду и доброе сердце и не поминайте о том, в чём судьбою я столь поругана... – и всё это такое говорила, так что не очень-то я понял хорошо.

Известно, образованная барышня.

– Что же, – промолвил я, – ожидать вас сегодня ради Христова воскресения?

– Нет, Терентий Иванович, нельзя сегодня.

– Что так?

– Может, урвусь, – говорит, – на минутку, но вряд ли. Гости, так от этого, нельзя... Только не бейте меня... Нет, уж бейте меня, бейте!.. – и с этим на шее у меня повисла.

„Эх, – думаю, – жаль барышню“.

– А что, Надежда Михайловна, как вы насчёт чёрной работы? Не тяжело вам будет?

– То есть как это, Терентий Иванович?

– Да обнаковенно, всё, что по нашему, будем говорить, мужицкому званию полагается: борщ сварить, хату прибрать, досмотреть корову, жита нажать... Могли б вы на это согласиться?

Покраснела она, глазки вспыхнули, жмёт меня крепко и целует.

– Вы, – говорит, – только прошлого моего позорящего поведения не забудете, корить станете и бить. Но как я в вас влюблена, то со всем помирюсь.

– Ничего, Надежда Михайловна, – говорю, – свариться не будем, а только бы надо приданого от Трофима Трофимовича. В прошедшую зиму они Варваре Левкадьевне триста рублей и питейное заведение со всей обстановкой пожертвовали. Вы тоже не меньше заслужили. Пусть усадебку дал бы...

– Трофим Трофимович меня добровольно не согласятся отпустить, – отвечает, и бледная, вот как полотно, стала. – Он мне приданого не даст, пока я ему не надоем, и за вас не выдаст, потому что вы – кучер, Терентий Иванович. Он всё за приказных выдаёт или же за кабатчиков. Он нас благородным воспитани-

ем осчастливил и хочет, чтоб мы продолжали благородный образ жизни. А если вам желательно, то повенчаемся тайно. Это, – говорит, – часто делается, вот и в книжках пишется об этом самом. Теперь же если приданное от Трофима Трофимовича хотя бы пришлось получить, то вы меня целый век им будете попрекать, оттого, что напоминание будет о моём позорящем поведении в моей младости у Трофима Трофимовича.

– Ничуть, Надежда Михайловна, а совершенно вопреки, не только корить не буду, а даже останусь очень благодарен по гроб моей жизни. Посудите сами, я – человек бедный, и мне очень пригодились бы каких-нибудь триста рублей. Я сейчас биржу завёл бы. Вы в деревне жили бы и хозяйством занимались, а я извозчиком в городе катался бы, да денежки вам высылал...

А надо сказать, я уж в то время хотел быть извозчиком, и, бывало, другой думки нет, как о лошадях да о дрожках. Правда, Надежда Михайловна очень мне полюбилась, но только раньше, насчёт чтобы жениться на ней, я и помышления в уме своём не имел. Ходит ко

мне барышня, я – словно салтан над ней, безвинно ремнём ожгу из одной глупой ревности, она мне руки мои белые целует... – чего мне больше? Ещё и подарки делает! А если жениться, то уже тут расчёт. Тут и любовь, тут и дела нельзя забыть. Я уж так решил, что коли жена, то и дрожки непременно. Без дрожек и пары лошадей – не женюсь.

– Нет, – говорю, – Надежда Михайловна, нельзя нам венчаться безо всего, согласитесь сами. Подождём, не будет ли такой милости Трофима Трофимовича. Может, они отпустят вас как Варвару Левкадьевну. А не рука – так не рука. Будем по-прежнему любиться, Надежда Михайловна!

Ничего, никакого словечка на это она не сказала, отошла от меня, за лоб рукой держится. Тут вошли Трофим Трофимович, со мной тоже похристосовались, поднесли вина рюмку. Я было протянул руку, а они – хлоп, и сами выпили. Шутник были, покойник! Посмеялись, полтинник подарили. Прошёл так день. Я с хлопцами яйца катал. У меня была битка припасена, так я дюжины две выбил яиц. Приехал начальник Трофима Трофимо-

вича, старый такой, ещё старее его; что говорит – не разберёшь, потому что зубов чёрт ма! Началось море разливанное, завели песни, игрушки, фортопьяны гудят – светопреставление, да и только! Захотелось мне посмотреть. И так под сердцем сосёт. „Что, – думаю, – Надежда Михайловна?..“ Взобрался я на зава-linkу, глаз к щёлке в ставне приложил, смотрю – не дышу. Тьфу!..»

Он помолчал.

– Сколько лет на свете живу, а ни прежде, ни потом ничего такого видать не доводилось и дай Бог, чтоб не довелось! И мужчины, и женщины... да нет, тьфу!.. Одно слово – срамота!

– И Надежда Михайловна была там?

– Была.

Новая пауза.

– Пьяная, – начал он, – хоть выжми, развратная... Так с тех пор у нас и разошлось. Ко мне она не приходила ни разу. Да я и давно замечал, что скупиться стала. То, бывало, с подарочком, а то уж так – парамур.

– Парамур? Откуда вы это слово знаете?

– А что? Нехорошее слово разве? Набор-

щик к нам один ходил, так я узнал. Это значит, по нашему, нашерамыжку.

Он умолк. Глаза его были внимательно устремлены на ноги лошади.

– Засекать стала под старость, – сказал он.

– А послушайте, как досталась вам кобыла от Трофима Трофимовича? Нам ехать долго, не расскажете ли ещё чего-нибудь? Например, как вам удалось стать извозчиком? Женились?

– А видите, барин, как. Выслужил свои лета начальник Трофима Трофимовича и уж слаб головою стал. Говорили, что на казённых бумагах не те слова подписывал. Так что на его место приехал другой, молодой и строгий. Всем страху нагнал и так завёл, что занимались службой и до обеда, и после обеда. Прежде три дня служат, а четыре дня пьянствуют; теперь пошло иначе. Ходили Трофим Трофимович, ходили, да и руки опустили. Стали говорить про суд, будто взяточников всех судить будут. Но хоть это было точно что неосновательно, а только Трофим Трофимович в отставку вышли. Вышли, заскучали, заскучали, в яму ночью оступились и померли.

Положили покойника на стол. Надежда Михайловна дала депешу в Петербург племяннику Трофима Трофимовича, чтоб приезжал и добром владал. А добра было немало – тысяч на семьдесят. Вот какие прежде службы в палате были, теперь таких что-то и не слышно!

– Ну, приехал племянник?

– Приехал, молоденький как красная девушка, студент, Григорий Еремеевич. Скверная на нём одежонка, шляпа большущая, и всё курит. То есть, я вам скажу, такой курец! Я от него много папиросами попользовался. Первым делом он портного позвал, отличную пару себе заказал, оделся в троур, а затем, конечно, имущество по описи принял и всем служающим награды положил. Надежде Михайловне пятьсот рублей выдал. Розине Францовне – полька была, горничная, – двести. Василисе, кухарке, – сто пятьдесят, а мне – сто рублей и вот эту самую кобылу.

«Как Надежда Михайловна уезжала, то мне сказала только: „Теперь я с приданным, Терентий Иванович“. А я ей на это: „Как вам угодно, Надежда Михайловна, за мной дело не стоит“. Потому что, действительно, я так

подумал, пятьсот рублей – деньги, хоть в ту пору я больше приверженности имел уже к Василисе, а Надежда Михайловна похудела, сильно постарела и вином занималась. Взглянула на меня Надежда Михайловна, головой покачала, да и отвернулась. Стыдно стало...

Уж года через три, как я женился на Василисе, встретил я Надежду Михайловну на Крещатике, к прохожим приставала. Увидела меня и захохотала. Слышно было потом, отравилась кислотой»...

– Вам её не жаль?

– За что? Сама виновата. Я от своего слова не отступался. Нет, барин, что сожалеть? Как уродится какая, то ей хоть кол на голове теши! Посудите сами, что у нас за жизнь была бы... Прямо сказать, она мне, после Василисы, опротивела. Как увижу, словно острый нож в сердце! А Василиса была баба ровненькая, пригожая, охоча до работы... Василиса ежели пирог испечёт, так во рту и тает... баба славная! Василису я никогда пальцем не тронул, до последнего времени слова грубого ей не сказал. Одно слово – жена.

– А в последнее время что же?

– Начались сварки, барин, вот что...

– Из-за чего?

– Из-за дочери.

– Дочь у вас ещё маленькая?..

– Какое! Девятнадцатый год пошёл...

– Когда же она успела вырасти?

Извозчик стал дёргать вожжами.

– Эй, ты, голубчик! Обожди маленько, может, мы теперь вперёд поедем. Держи к одной, держи, мазепа!

– За що ж вы лаетесь? – произнёс мужик и своротил в сторону.

– За то, что ты гавкаешь по-собачьи, разиня!

Дорога была здесь ровная, и лошадь Терентия Ивановича пошла рысцой. Открылись живописные виды. Налево синел лес, и сверкал как серебряный Днепр; направо в золотистом тумане, прозрачном и лёгком, тонули тёмные дубравы. Ближе волновались нивы яровых хлебов, похожие на гигантские куски полинялого зелёного бархата, отливавшие то в жёлтый, то в коричневый тон. Птицы ширяли в поднебесье, их двукрылые тени бежали по земле. Медвяный запах гречихи напоял со-

бою воздух. Было бы совсем хорошо, если бы не столб пыли, гнавшийся за нами по пятам как тень; зонтик слабо защищал от неё. Впрочем, любоваться природой мешал мне и Терентий Иванович, разбудивший в моей душе тоскливое чувство, какое вообще вызывают люди, когда ближе присмотришься к ним.

Мои глаза невольно останавливались на фигуре извозчика. Серые от пыли волосы его торчали кровелькой из-под картуза, и морщинистая шея была красна как медь. Могучие плечи свидетельствовали об огромной физической силе. Вот эту шею обнимали руки бедного существа, которое Трофим Трофимович «осчастливил благородным воспитанием».

Защиты, помощи и человеческой страсти искала эта загубленная душа и не нашла. Всё, что было у неё самого дорогого – нежное сердце своё, изнывавшее среди ужасающей обстановки, обливавшееся безмолвными слезами, тосковавшее, может быть, по романтическим, пушкинским идеалам, – отдавала она дикарю, с одним условием, чтоб увидел он это благоуханное сердце. Всё она будет делать, всякую чёрную работу, и пусть он бьёт её, но

пусть любит. И такова была жизненность этого сердца, что и дикарь на время проснулся. В нём заговорило что-то; странный трепет испытывал он при виде лица задумчивой девушки. Он, дикарь, страдал! Но он не мог заглянуть в чудное сердце. Так и остался слепым... Он правду сказал: если б он женился на Надежде Михайловне, тяжёлая жизнь вышла бы.

– Лошадь ваша недурно бежит теперь, – начал я (мне хотелось возобновить разговор с извозчиком).

– А совершенно так, что недурно, – отвечал Терентий Иванович. – Она ежели по наклону, с горы, ещё лучше бежит. Удержу нет!

– А всё-таки не мешало б, говорите, лучшую завести, помоложе?

– Даже слишком не мешало б. Да я и завёл бы, давно бы завёл, кабы не горе моё, кабы не дочка!

Он повернул ко мне лицо и провёл по воздуху растопыренными пальцами свободной руки с особенной ужимкой человека, решившегося быть откровенным.

– Я, барин, Василису с дочкой брал, – начал

он. – Ей восемь годков было, дочке, а родила её Василиса – ещё сама почти что девчонкой была. Ну, так думаю: что было, то было, а это мне не в диковинку, – ежели уже согрешила, мне же, простите на этом слове, легче! А Василиса – баба как следовало, через такой глупый пустяк рассор заводить нам очень было бы неумно. Обещала она сначала Груньку свою отдать в чужие люди, а потом как стали мы на своём хозяйстве, то и говорим: «Оставим Груньку при себе, пусть помощница в хате будет, чем нам брать наймичку». Оставили, и – верьте Богу – я как родной отец был девчонке. Я её обувал, одевал, бывало и серёжки куплю, и гребешочек, и зеркальце. Выгнало её скоро как лозу, и стала она, можно сказать, первая красавица на всём предместье. А жили мы на Демиевке, где, примерно, и теперь живём. Вот девчонке пятнадцать лет, а то уже и шестнадцать. Говорим мы с Василисой: «Верно, не за горами женихи».

«Про волка помолвка, а волк – толк. Глядим мы, сунется один, чтоб ему ни дна, ни покрывки, проклятому! Чёрный такой, кучерявый, усы закручены как у господ, и в сертуке,

а под сертуком китайчатая рубаша навыпуск. „Это, – говорит, – блуза, господа; в нашем ремесле без ей никак невозможно обойтись“. – „Какое же ваше ремесло?“ – спрашиваем. – „А, – говорит, – пускаем разные мысли в оборот. Вот, – говорит, – бумага, которой эта колбаса была обворочена. Подумали ли вы хоть раз – сколько тут мыслей? Тут, – говорит, – вот какие и вот какие мысли“. И всё добропорядочно и безо всякого крика рассказал.

Слушаем мы и спрашиваем: „Большие деньги вам за это платят?“ – „А не меньше, – отвечает, – как сорок рублей серебра ежемесячно. Это дело не всякий может производить, оттого что буквов тридцать шесть, а слов – так тех тридцать тысяч. И надо от рождения иметь талант, чтобы на бумаге печатать. Короче, – говорит, – сказать, имею такую честь рекомендоваться: наборщик Семён Прикопкин“. Встал на этом слове, низко нам поклонился, задниками щёлкнул, локти вывернул и опять сел. Грунька сидит поодаль, покраснела как маков цвет и всё в землю смотрит. Помолчали мы и спрашиваем:

– Где же вы с Груней познакомились? Неужели на улице?

– На улице, – отвечает, – я вашу прекрасную дочь только увидел, а знакомства с ней без родительского дозволения не заводил и хочу знать, как вы насчёт этого самого благо- разумно полагаете?

Посмотрели мы на его – сертук на ём, действительно, тонкий, сапоги целые; одно только сомнительно нам показалось, что при таком жалованье ни часов, ни цепочки окончательно не имеется. Однако, говорим:

– Будьте знакомы, мы не препятствуем, ежели вы с честным намерением. Не взыщите, коль не всегда угощение найдёте, а приходу вашему будем очень даже рады.

На этом слове он вторично встал, поклонился, к Груньке подсел и усом на неё моргнул. Потом этак с час прилично обо всём поговорил и стал прощаться.

– А вам далеко? – спрашиваю.

– Мне в город, на самый Крещатик, в типографию, производить своё дело.

– Хорошо, – говорю, – я вас подвезу.

А у меня намерение было всё об ём разуз-

нать, потому что хоть и не родная дочка, но только спросить не мешает, с кем она знает-ся. Действительно, оказалось, что всё правда, как он сказал; и жалованья сорок рублей. Стали мы его принимать с тех пор поласковее, угощали, и водочкой, и чайком. Подвернулся было другой жених, но мы ему надежды не подали, да и Груньке кучерявый наборщик больше пришёлся по вкусу. Бывало, сидят на глазах у матери, пересмеиваются меж собою, по рукам друг дружку бьют или в дурачки играют на поцелуи.

Тонкая штука был этот Прикопкин! Одно слово, долго рассказывать – стал он женихом и через месяц зовёт уже меня папашей, а Василису – мамашей. С девкой, натурально, как с невестой обходится. Отвернёшься, а он с ей балуется, не утерпит.

– Нехорошо, – говорю, – детки: до добра баловство не доведёт, надо себя соблюдать.

Между тем пришли Филипповки, и говорим мы с Василисой:

– Не пора ли свадьбу справлять? Этак долго ли до греха? Грунька – девка кровяная, потная, а Прикопкин тоже в полном образова-

нии.

Поговорили этак, и вечерком я возьми, да и завинти жениху: так мол и так.

– Очень, – говорит, – хорошо, и я хоть в сию минуту готов, но только венчание на ваш, папашенька, счёт.

– Почему ж так на мой счёт? – отвечаю. – Угощение я поставлю, я об этом не спорю, а попу – воля ваша, жених обязан платить.

Поспорили мы, и так мне досадно сделалось.

– Не согласен? – говорю.

– Я, – говорит, – папашенька, ведь приданого с вас не беру, окромя одежи и мебели, так можно бы попу заплатить.

– Какой такой мебели? – спрашиваю.

– А, – говорит, – мебели, чтоб на чём сесть было и на чём лечь.

– Так вы ещё с выдумками... Вон из моего дома! – как крикну, да кулаком по столу как хлопну, так мой Прикопкин драла, а Грунька – в слёзы.

Первый раз тогда с Василисой повздорил и чуть было за косы не оттаскал. Сами посудите – будь родная дочка, а то ведь не моя!.. Ну,

всё-таки, уломали меня – решил я попу заплатить и мебель дать. – „Бог с ними, – думаю, – отдам свой шкаф, стулья и диван, а себе новое куплю“. – Приходит жених, я ему и говорю: „Так и так, Семён Ефимович, вот вам мебель, будем играть свадьбу“.

– Вот эту мебель, папашенька, вы нам отдаёте? – говорит, а сам так и ухмыляется. – Нет, премного благодарны, а только мы беспрременно хотим, чтоб новенькая была.

– Та-та-та, голубчик!

Слово за слово – опять я его протурил и опять с Василисой повздорил.

И таким способом мы цельную неделю водились – всё у нас ладу не было. Наконец того, вижу, что иначе нельзя, – махнул рукой – хорошо! Будь по-вашему! Был у меня конь, добрый конь, ах, какой конь, но только с мокрецом. Я вывел его на Конную и продал за сорок два рубля. Да валялось у меня рублей с шестьдесят прежних денег. Всё это распределил на то, на другое и так размерил, что еле-еле... Сто рублей – что ж это за деньги! Ждём жениха. Приходит он вечером не один, а с товарищем.

– Имею такую честь рекомендовать неза-

бвенного друга моего Васю Козловского.

Оба словно бы господа какие кланяются и локти вывернули. Действительно, что друзья! Поставил я им пива, пьют они, и тот товарищ глаз с Груньки не спускает. Разумеется, девка была видная, брови аж блестят, зубы скалит, и грудь – во какая! Усмехнётся, – то всё внутри горит. На славу девка! Вот глядим, а Козловский всё ближе да ближе к Груньке присовывается, между тем жених за папашеньку и мамашеньку взялся.

– Драйжайшие родители мои, – говорит, – уже не за горами день, когда злой рок соединит меня и любезную мою Аграфену Трофимовну навеки вечными узами. Но только я без фрака венчаться не желаю.

– То есть, – спрашиваю, – как это? Надевайте фрак, я разве вам препятствую в этом! Сделайте ваше одолжение, – говорю.

– Я, – говорит, – уповаю, что вы, папашенька, перед портным поручитесь, а мне фрак беспрременно надо. Вася, – говорит, – тоже будет во фраке.

Тут уже и Василиса рассердилась. Во мне, поверите, всё колотится, рука зудит, чтоб

хряснуть, а как подумаю, что коня продал и приданое сделал, то и осяду. Стал упрашивать его.

– Побойтесь Бога, – говорю, – что за глупость! В сертуке, а то даже в пинжаке... Нашему ли брату форсить. Виданное ли дело!

– Нет, – отвечает, – ежели без фрака, то я со стыда сгорю. Вася! – кричит. – Можно ли без фрака венчаться?

– Никак нельзя! – отвечает.

„Боже мой! – думаю. – Вот нажил зятя!“

Однако на своём решил постановить, и такой у нас спор поднялся, что чуть не до драки. Кричали мы, кричали, только что сговоримся и станет тише, и по стакану даже хлопнем, но сейчас же новый шум начнётся.

Один только приятель Прикопкина с Грунькой ши-ши-ши... шу-шу-шу, и оба на нас посматривают. А о чём шепчутся, нам невдомёк. Наконец, dospорились мы до положительного рассору.

– Девка, – кричу, – молодая, ещё успеет выйти. А таких женихов нам не надобно... Честью, господа, прошу!

На этом слове я на дверь правой рукой ука-

зал и выпроводил фрачников. Василиса видит, что Грунька плачет, давай меня увещевать, отчего мол, в самом деле, фрака не сделать Семёну. Ну, а я в ответ – по морде. Она доводит насчёт того, что вся улица про свадьбу уже знает, и что теперь слава пойдёт, а я – по морде, по морде. С этого самого времени достаётся от меня Василисе, хоть и жаль мне её, неумную. Баба! Языка сдержать не может!

Вот выспался я, выехал утром на работу, да и думаю: „Неужели ж через фрак жених убежит? – Не может быть, чудно что-то“... Проездив день, проездив и вечер, прибыл домой и, ни слова не говоря, поужинал и спать лёг. Тоска меня разбирает, ажно в голову бьёт! Сон нейдёт, смутно в хате. Вдруг слышу: брязь-брязь! „Где это?“ – думаю себе. Вторично: брязь-брязь! „Эге, – думаю, – да это к нам кто-то в окошко тихонько стучит“.

Стал прислушиваться – чую, Грунька встала и платье надевает; а Грунька с нами в спальне, известно, как при отце и матери, спала. Толкнул я Василису: „Чтось, стара? неладно!“ Выскочила Грунька в другую комнату, а я за ей, как был, босой. Положим, мне

всё видно, потому что снег белеется на дворе, а ставней у нас нет. Притаился я в дверях – жду, что будет. Ещё раз: брязь-брязь. Вижу, извозничьи санки стоят; один человек в санках, вроде как Прикопкин, а другой под окном – показалось мне так, что Козловский. Грунька подбежала к окошку, на ходу платье поправляет и рукой машет. Потом отворила форточку и начала шептаться. Шепталась, шепталась, а далее того и Прикопкин слез. О чём они говорили – мне не известно, но не к добру, думаю. Я вышел и крикнул:

– Что здесь за народы? Зачем ночью шляетесь? Ежели добрые люди, то просим днём жаловать, а ночью спать надо. Пошли прочь, канальи!

Взял и Груньку по спине смазал, за косу в спальню сволок и на кровать бросил.

– Спи, не позорь честных родителей!..

Поучил, а только мало. Стал я потом замечать, что Грунька на меня исподлобья смотрит, всё меня сторонится и что-то в уме содержит. С матерью шу-шу-шу да шу-шу-шу, и как приеду домой, то щёки у неё красные с холоду – сейчас сама, должно, домой прибежала.

Говорю Василисе:

– Ой, смотри за девкой, это не горшок, замазкой не замажешь, как разобьётся; гляди в оба!

Василиса вздохнёт и станет меня попрекать, что фрака жениху не сделал, а через это пошло расстройство, и девка очумела. Конечно, новая сварка. Тоже и по зубам съездишь. Какой это, в самом деле, жених, что ему же фрак сделай. И на что тот фрак! Издохну, а этого не будет. „Терентий Иванович, не губи девку!“ Сейчас – лясь-лясь в правую и в левую щеку, тем на сегодня и кончится.

Дождались мы масленицы. Досада меня разбирает, что продал я лошадь и не вовремя приданое сделал чужой дочери, которая от меня же рыло воротит. Тут езда, а тут у тебя одна коняка. Сцепил я зубы и хожу. И Боже сохрани, не попадайся мне тогда никто под руку! А жениха всё нет, да нет. „Э, – думаю, – это всё Козловский смутьянит его. Поеду к нему, скажу: так, мол, и так“. Недолго я его искал – на улице встретил, пьян, до положения риз, и ничего не говорит, а только: бам-бум, бам-бум! Бросил я его в санки, привёз домой. Об-

лили мы его водой, очнулся малый, требует к себе Груньку.

– Скажи, – говорит, – папашеньке, что мне теперь надобно беспрерывно три рубля.

Заболело у меня сердце, переглянулся я с Василисой, дал три рубля. Сунул он бумажку в карман.

– Теперь я, – говорит, – готов побеседовать с папашенькой.

– Как, – говорю, – вам не стыдно, девку обидели, дохороводились до масленицы? Меня в расходы ввели, ждать сколько времени опять!

– А вы, – отвечает, – папашенька, не ждите, свадьбы не будет.

– Я, – говорю, – вам фрак готов предоставить. Я на толкучке видел весьма замечательные фраки.

– Нет, – отвечает, – мне уж фрака не надоть.

– Что ж вам надо?

– А пусть Грунька со мной открыто в незаконную связь вступит.

– Проспись, – говорю, – дурак, что мелешь!

Опять его выгнал и рукой на эту свадьбу

махнул. Непутёвый человек – подальше от таких людей! Злость на Груньке сорвал, наляскал её, чтоб себя соблюдала, и сам, признаться, запил... С досады».

Терентий Иванович махнул рукой и передёрнул вожжами.

– Что ж, потом нашлись другие женихи?

– Какое, барин! Слава пошла! Да это ещё что. Летом того года ездил я с одним господином в деревню, и договорил он меня на целый месяц. Значит, дома я очень даже мало находился. Как-то раненько в праздник вернулся я домой. Вошёл, смотрю, дверь в сенцах не заперта. Я не успел разглядеться, как мне насустречь Прикопкин – шась! А за им Козловский шась! – Хотел я погнаться, а их и след простыл. Грунька лежит на кровати под простынёй и на меня глазищами как корова смотрит, губы побелели и дрожат.

«– Что это ты, девочка, – говорю и кнут в руке держу, – в сенцах спать затеяла? Душно тебе, милая?

Молчит.

– Ты б, – говорю, – и простынку сняла, а то тебе точно что душно...

И с этим словом вдруг раскрыл я её и замахнулся, чтоб она знала, что есть такое именно девичья честь. Но как глянул, то мне, верите, барин, ужась как страшно стало!.. Распухла! Руку я опустил.

– Укройся, – говорю, – дура, что с тобой, до чего ты себя довела?

Молчит.

– Так, – говорю, – бить я тебя не буду, а сейчас же собирайся и ступай вон из дому. Не хочу я тебя знать и видеть, пускай содержат тебя те, кто тебе любы да милы. Прочь от меня, забудь, что мою хлеб-соль ела, я тебе теперь не батька. Прочь!

Ну, если б же она заплакала или стала просить, как есть кроткие и покорливые, то я в сердце своём всё затаил бы и простил. И жила бы она у нас и детину ту родила бы и выкохала. Я – человек добрый. А то нет – сейчас встала, оделась, обулась, ничего больше не взяла с собою, слезы не уронила, на меня не взглянула, о матери не вспомнила – и ушла... И ушла, ушла... С той поры ни слуху, ни духу».

– Совсем пропала?

– Как сквозь землю провалилась! Я и поли-

ции давал знать, Василиса к знахарке бежала, – ничего не помогло. Сколько раз поил я наших фрячников: водки много вышло, а толку никакого. Они же меня, в конец того, ещё и осмеют. Положим, мне не жалко, не моя дочь, будем так говорить; а через то досадно, что Василиса убивается, и не проходит у нас дня, чтоб сварки не было. А на той неделе нас в кутузку урядник хотел забирать...

– Так вот, барин, – заключил он, – теперь и подумайте, как вы есть образованный и умный человек, – как при таких делах извозчику можно иметь хорошие дрожки, упряжь и лошадь? Невозможно, никак невозможно! Правда, всей душой этого желаешь, и цельные ночи думаешь, и на всякие хитрости поднимаешься, чтоб выгадать рубль-другой. А как сварка начнётся, пропьёшь этот рубль, горло с товарищами подерёшь в кабаке, – и шабаш, и опять у тебя ничего... Нет мне счастья, барин, на возрасте моих лет! Нет талану!

Он сильно дёрнул вожжами, престарелая лошадь поскакала со странным оживлением. Она неслась всё скорее и скорее. Из дрожек чуть не повыпрыгивали кульки с покупка-

ми – пришлось их придерживать. Терентий Иванович сам оживился, выпрямился и торжествующим тоном поощрял кобылу к дальнейшему бегу. Сначала меня немало изумляла такая прыть. Но вскоре стало очевидно, что мы едем под гору...

Несколько минут неслись мы так, и Терентий Иванович, промчавшись по живому мостику, обсаженному старыми вербами, имел удовольствие подкатить меня, наконец, к крыльцу моей дачи с ловкостью заправского кучера.

август 1884 г.